

АНДРЕЙ УБОГИЙ



НОВАЯ ЖИЗНЬ

РАССКАЗ

Василий Романович, седой полнокровный старик, вторую неделю лежал в параличе. Удар с ним случился в начале весны, когда их окраина была по самые крыши в снегах, и только в солнечный полдень под сугробами оживали ручьи.

Первое, что он увидел в окне, когда темнота, долго его укрывавшая, сошла с глаз, была ветка в снегу. Воробьи перепархивали по ней, и снег падал бесшумно, брусками; вся ветвь облегченно, как будто вздыхая, подавалась наверх — но всё это было пока совершенно бесшумно и как-то бесплотно. Потом, сквозь звенящую тишину, старик почувствовал, как в нем бьется сердце. Кровь толкалась в виски так неровно и глухо, словно сердце пока не решило: стучать ему дальше — или, может быть, остановиться?

Старик попробовал пошевелиться. Руки дернулись и напряглись, а вот ног он не чувствовал вовсе. Удивленный, старик скосил взгляд к изножке кровати. Там, где были ноги, что-то выширало из-под одеяла, но было недвижимым — как совершенно чужой, посторонний предмет. “Значит, я помер, но только наполовину? — подумал старик. — Не повезло тебе, Васька...”

Он долго не верил в то, что с ним случилось. По нескольку раз на дню старик приподнимался, откидывал одеяло и рассматривал свои бледные ноги, недвижно лежавшие на простыне. “Вот так фокус...” — с опаской, как будто боясь повредить, он трогал колени руками. Колени казались холодными, твердыми и неживыми. Видеть себя, вот такого, старику было страшно,

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в Калуге. Хирург. Автор пяти книг прозы. Пишет критические статьи. Член Союза писателей России. Член Общественного совета журнала “Наш современник”. Лауреат премии имени В. В. Кожина за 2004 год.

и он переводил взгляд в окно, где сверкала капель, и где вишневое дерево всё шевелилось от стаи обсевших его воробьев...

Старуха, толстая и неуклюжая, ковыляла из угла в угол и бормотала:

— Ох, Господи... Ох, спаси и помилуй!

Дел в доме было невпроворот — с тех пор, как слег муж, за ним надо было ухаживать, словно за малым ребенком — но Ивановна была уже так стара и слаба, что ее хватало только на слезы и причитания.

Поначалу она была даже рада тому, что случилось с ее стариком. Василий Романович, всю жизнь шумевший, ругавшийся, часто бивший ее во хмелю, лежал теперь, словно бревно — и ей не надо было бояться, что вот он зайвится пьяный и злой и накинется на нее с кулаками. Но потом, когда первая радость и чувство покоя прошли, на нее накатила такая усталость, такая тоска — что слезы текли из глаз сами собой. “Ему, кровопийце, опять лучше всех, — со злобой и завистью думала она о старике. — Как жизнь прожил на всем готовом, так и теперь, словно барин, разлегся...” Перестилать и кормить старика, подавать ему судно, отстирывать грязные простыни было так тяжело, что старуха мечтала о чьей-нибудь смерти: его ли, своей — все равно. Она постоянно ходила теперь неопрятная, с мокрым подолом — и с ошеломленно-тупым выражением на оплывшем лице. Но старика до сих пор опасалась — полвека испуга не прошли для ее души даром, и, стоило старику позвать ее, как она тотчас спешила к нему.

Только изредка, когда старик спал, она позволяла себе выйти на улицу да пообщаться с соседками.

— Ну, нет моей мочи! И ноги не ходют, и руки не держат, — начинала Ивановна причитать, но ее мало кто слушал: жалобы толстой старухи были всем так же привычны, как щебетание воробьев или гвалт серых галок.

Старухи-соседки сидели на лавочке рядом и говорили, не глядя одна на другую:

— Да, досталось Ивановне...

— Ты ж за ним, как за малым дитем: то одно подай, то другое...

— Терпи, бабка: куда ж нам деваться?

Иногда, чтоб утешить себя, Ивановна говорила:

— Может, это Господь испытание мне посылает? Вот, помучаюсь с ним — так, глядишь, и грехи мне простятся?

Старухи согласно кивали:

— Ну, ясное дело!

— Бог труда любит...

А про себя они думали: вот повезло этой толстой дурехе! Им-то самим уже не о ком было заботиться, и приходилось доживать век одним, со всеми грехами, большими и малыми, что накопились за долгие годы — и эти грехи теперь уже нечем было исправить...

Старик становился всё более груб, раздражителен, невыносим. Когда старуха неумело, дрожащими от слабости и от испуга руками, подсовывала под него судно, старик, багровея, хрипел:

— Ну, куда ж ты пихаешь? Калоша!

Бывало, он снова, по давней привычке, замахивался на нее — и перепуганная старуха отскакивала от кровати. Сине-багровый, в надувшихся венах и в татуировках, кулак мужа был даже более страшен, чем раньше — как будто вся жизнь старика, покидая недвижимое тело, скопилась в его кулаке.

Старику нравилось угрожать старухе, пугать ее и доводить до слез. Когда он, рыча, замахивался на жену и видел в ее глазах ужас — он упивался коротким и сладким сознанием того, что всё еще жив, раз его до сих пор так бояться...

Днем, на свету, в окруженье привычных предметов и звуков, старик еще мог, позабывшись, расслабиться и задремать. Ночами же не было ни минуты покоя. Тело, невидимое в темноте, как бы совсем исчезало — а старик не хотел с этим мириться. Тяжело дыша, он начинал двигать руками и головой, растирать себе грудь и живот — чтоб хоть как-то вернуть ощущение тела. Он трудился так до тех пор, пока шум разогнавшейся крови, отдавав-

шийся в голове и во всём теле, не убеждал старика в реальности собственного существования. Но, пока он отдыхал, кровь опять затихала, и тело опять исчезало — так что приходилось, кряхтя и вздыхая, опять приниматься за бесконечную, как труд Сизифа, ночную работу...

К утру старик был измотан — но глаза его, красные от бессонницы, торжествовали: ему удалось встретить еще один день!

— Бабка! — хрипел он в сумрак утренней комнаты. — Шевелись, ка-лоша: я чаю хочу!

В субботу навестить старика пришел сын с невесткою Антониной. Сына Василий Романович не любил — оттого, может быть, что тот пошел в мать, и с годами это делалось всё очевиднее. Лицо Михаила всегда было испуганным, жалким, и глаза бегали суетливо, словно боялись на чем-нибудь остановиться надолго.

— А, приперся, — угрюмо встретил его старик. — Ну, раз пришел, заходи...

— Как, батя, здоровычко? — спросил сын.

Старик грубо выругался. Михаил вздрогнул, а жизнерадостная Антонина захохотала:

— Ну, дает дед! Одной ногой уж в могиле — а всё матерится!

Михаил женился на ней недавно — первая жена ушла от него год назад, — и старик не мог взять в толк: как Антонина, бабенка смазливая, бойкая, пошла за такого вот тюфяка? “Лет бы десять назад, — думал он, жадно глядя на оправляющую прическу невестку, — я бы и сам от такой бабы не отказался...”

Появилась старуха — и, как всегда, начала причитать:

— Ох, родные мои! Нет моей моченьки больше — я с ним не могу...

— Цыть, дура! — крикнул старик, но старуха не унималась.

— А чего голосишь-то, мамаша? — поинтересовалась Антонина.

— Так, это... Сил-то уж нет — перестилать его, скажем... Он же здоровый, как боров — как его перевернешь?

— Да? — Антонина ненадолго задумалась. — Ну, ладно: я тут работаю неподалеку, так что могу забегать по утрам...

Антонина приходила к ним еще затемно, до открытия магазина, в котором работала продавицей.

— Здорово ночевали! — кричала она с порога. — Ну что, дед, опять обоссался?

— Не-е, Тюнюшка, нынче я утерпел, — бормотал непривычно смущенный старик.

Антонина снимала пальто, разувалась. Ее тугое полное тело поскрипывало, словно кочан капусты. Старик жадно смотрел, как она, не стесняясь, подтягивает чулки, как поправляет грудь в тесном лифчике — и от этого зрелища в висках старика начинала толкаться горячая кровь.

— Ну, чего зенки вылупил? — смеялась невестка. — Живой бабы не видел?

— Я-то? — бодрился старик. — Да я таких, знаешь, сколь перещупал!

— Ишь, старый хрен! — Антонина смотрела на старика как бы даже и с интересом. — А ты, видать, был и вправду мужик огневой... Бабка, где простыни?

Старуха испуганно подавала ей стопку белья. Антонина, натужась, рывком переворачивала старика лицом к стене и сдергивала с него кальсоны.

— Ишь, крестец-то намял, — говорила она озабоченно. — Как бы пролежня не было...

Антонина всё делала быстро, сноровисто — словно всю жизнь занималась с больными. Старик не чувствовал, как невестка протирает ему спину — он только морщился от запаха камфорного спирта — зато ощущал, как в затылок ему ударяет теплом от дыхания Антонины. Перестелив простынь, невестка переворачивала старика снова на спину — и он чувствовал себя осужденным, помолодевшим.

— Ну, прям жених! — смеялась довольная Антонина. — Ладно, дед, я побежала. До завтра!

Старик изменился. Он стал задумчив и тих, стал подолгу причесываться перед маленьким зеркальцем, утопавшим в громадном его кулаке, стал каждый день бриться — и старуха боялась его теперь еще больше, чем тогда, когда он кричал и махал на нее кулаками.

Даже Ивановне, вечно испуганной и оступевшей, и то было ясно: причина таких перемен в старике — Антонина. Когда появлялась невестка, Василий Романович делался сам на себя непохож. Он краснел и смущался, неловко пытался шутить, старался при случае ухватить Антонину за полную, сильную руку — и, когда это ему удавалось, старик радовался, словно малый ребенок. Похоже, при каждом прикосновении к полному жизни, горячему телу невестки старик оживал свои старые силы. Антонина, которой всё это было забавно, охотно подыгрывала старику.

— Что, дед, опять меня лапать начнешь? — хитро спрашивала она, нагибаясь над ним. — Да ты у нас прямо маньяк!

Старик улыбался, польщенный, и руки его как-то сами собой прилипали к горячим бокам или бедрам невестки.

— Вот это мужик! — хохотала она. — Не то, что твой Мишка: ни рыба, ни мясо. Может, и грудь мне прихватишь? А то отрастила себе буфера — да, похоже, вступаю...

И она, наклоняясь, с отрешенной и странной улыбкой смотрела, как старик жадно мнет ее полные груди. Глаза ее в этот момент становились печальны — как будто она вспоминала о всех тех мужчинах, которые делали это когда-то, и думала, что ни один из них так и не дал ей того, что она ожидала...

— Ну, довольно — а то тебя еще один удар хватит, — вздыхала она и выпрямлялась. — Я завтра снова приду.

Старик по-другому теперь проводил свои ночи. Он уже не боялся, что вдруг растворится, исчезнет во тьме, и не старался теперь разогнать свою кровь, заставляя усиленно двигаться тело. Его голова начинала шуметь, а сердце стучать напряженно и туго, стоило лишь подумать об Антонине, стоило вспомнить ее всегда чуть вспотевшее тело и представить ее то насмешливый, то задумчиво тающий взгляд. Порой старику представлялось, что он знал Антонину давным-давно, еще в самом начале своей долгой и путаной жизни — и он, перебирая воспоминания юности, словно старался там встретить такие же точно глаза, встретить двусмысленный, грустный, насмешливый взгляд Антонины...

Все силы души по ночам уходили на воспоминания. Что-то помнилось ясно, а что-то тонуло в тумане. Такие провалы, слепые места тяготили его: старик опасался, что самое главное, то, что он ищет — скрыто именно там, где его память пока что бессильна. Вот, например: старик совершенно не помнил, как он женился. Тем более, что ничего общего не было у оступевшей и грузной старухи, которая жила рядом с ним — и у той большеглазой худенькой девушки, которую он, шестьдесят лет назад, встретил в летнем кинотеатре. Стыдно сказать, но старик позабыл даже имя жены. Долгие годы он обращался к ней только “Ивановна”, “бабка”, “калоша” и “дура”. “Господи, как же звать-то ее? — заволновался он как-то под утро. — Так ведь помрешь, и не вспомнишь...”

— Ивановна, где ты? — позвал он.

Та появилась неслышно и тихо спросила:

— Чего?

— Слышь, ты это... Присядь, не боись.

Старуха, всё еще недоверчиво, тяжело опустилась на край заскрипевшей кровати. Лицо ее, как всегда рядом с мужем, стало испуганным.

— Ты, это... Не помнишь, как мы с тобой свадьбу играли?

Старуха посмотрела на старика с изумлением.

— Когда хоть всё это было — зимой или летом? Убей Бог, не помню!

— Вроде летом...

— Ну, ну! — подгонял старик нетерпеливо. — Еще хоть чего-нибудь вспомни!

— Помню, как дождь пошел... Все в дом побежали...

— Ага-ага, дождь я тоже, кажись, вспоминаю!

И правда, воспоминания стали в нем оживать. Старик вспомнил улицу, тополь и стол, сбитый из двух длинных досок — их одолжил, с постройки своего дома, Федька Соболев, которого после убило под Курском. На столе стояли редкие миски и бутылки мутного самогона. День, точно, был пасмурный, душный: все торопились выпить и закусить до того, как набрякшее небо прорвется дождем. А невеста? Тогда, за столом, он смотрел на нее как-то искоса, редко, смущаясь. Старик вспомнил руку ее, как лежала она на неструганных досках стола: рука была тонкая, в ссадинах после работы на стройке и в нежных прожилках, которые голубели под кожей. Еще старик вспомнил рукав сине-белого платья и то чувство нежности, которое вдруг охватило его, когда он подумал: “Она мне теперь не чужая — жена!”

— Ты, слышь, в чем была-то тогда? В синем платье таком — ну, с горохами белыми на рукавах?

Старуха кивнула:

— Ага, ага, в синем, с горохами...

В ней тоже, видно, ожили воспоминания: брови поднялись, еще больше наморщив ее желтый лоб, в водянистых глазах засветилось живое. На одутловатом лице появилась вдруг робкая, непривычная для старухи, улыбка — но тотчас, словно бы испугавшись самой же себя, та улыбка исчезла...

И старик вспомнил: “Конечно, Мария — ну, как я мог позабыть!” Ему стало пронзительно жалко старуху, себя самого, всю их прошлую жизнь — так жалко, что он, сам того не ожидая, заплакал. И все время, пока слезы текли по щекам, старику казалось: какая-то новая жизнь, полная новых и мыслей, и чувств, и забот — непременно начнется теперь для него...